



*Лучшему из моих учителей,  
Дженнет Джонсон, с любовью*



*Как забраться на древо жизни,  
кидаться камнями в себя самого  
и спуститься на землю, не сломав  
себе шею и не сломив дух.*

*Предисловие с названием,  
немногим длинней самой книги*

Иногда я поражаюсь способности девятилетнего себя видеть ловушки и не попадаться.

Как могло получиться, что мальчишка-четвероклассник, которым я был в октябре 1929-го, из-за насмешек школьных друзей разорвал свои комиксы с Баком Роджерсом, а через месяц рассудил, что все его друзья — идиоты, и начал опять собирать коллекцию?

Откуда взялась эта сила и рассудительность? Какие из моих тогдашних переживаний пробудили способность сказать: я словно мертвый. Кто меня убивает? От чего я страдаю? Чем это лечится?

Нет сомнений — я смог ответить на эти вопросы. Я выявил болезнь: собственноручно разорванные комиксы. Я нашел лекарство: снова начать собирать коллекцию, несмотря ни на что.

Я так сделал. И выздоровел.

И тем не менее... В таком возрасте? Когда нам привычнее прогибаться под давлением сверстников?

Где я взял смелость сопротивляться, изменить свою жизнь, перестать быть как все?

Не хотелось бы все это преувеличивать, но мне, черт возьми, нравится этот девятилетний

мальчишка, кем бы он ни был. Без него я бы не выжил и не писал бы сейчас предисловие к этой книге.

Конечно, отчасти все объясняется моей безумной влюбленностью в Бака Роджерса. Меня убивала сама мысль о том, что мой герой — моя любовь, моя жизнь — уничтожен. Это как если бы твой лучший друг, твой закадычный приятель, центр всей твоей жизни, вдруг утонул или его застрелили бы из ружья. Погибших друзей не спасешь от мотыги. Но я догадался: у Бака Роджерса может быть вторая жизнь, если я так захочу. И я сделал ему искусственное дыхание, и — глядите! — он сел и сказал: «Знаешь, что? Кричи. Прыгай. Играй. Сделай этих сукиных сынков. Они никогда не сумеют жить так, как ты. Давай. Вперед».

Только собачьих детей я, само собой, не упоминал. Такого не разрешалось.

— Черт! — вот самое большое, что я себе позволял в смысле крепости выражений. Живи!

И я собирал комиксы, и влюблялся в бродячие цирки и Всемирные выставки, и начал писать. И чему же, вы спросите, учит писательство?

Во-первых, оно напоминает о том, что мы живы, что жизнь — привилегия и подарок, а вовсе не право. Если нас одарили жизнью, надо ее отслужить. Жизнь требует что-то взамен, потому что дала нам великое благо — одушевленность.

И пусть искусство не может, как бы нам этого ни хотелось, спасти нас от войн и лишений, зависти, жадности, старости или смерти, оно может хотя бы придать нам сил.

Во-вторых, писательство — это вопрос выживания. Как, разумеется, и любое искусство, любая хорошо сделанная работа.

Для многих из нас не писать — все равно что умереть.

Каждый день мы берем в руки оружие, скорее всего, заведомо зная, что битву не выиграть до конца, но все равно надо сражаться, пусть в меру сил, но надо. Даже стремление победить в каком-то смысле уже означает победу под конец каждого дня. Вспомним того пианиста, который сказал: «Если я не репетирую один день — это услышу я сам. Если не репетирую два дня подряд — это услышат критики. На третий день — это услышит весь зал».

То же самое верно и для писателей. Конечно, за несколько дней простоя твой стиль, каким бы он ни был, форму не потеряет.

Но вот что случится: мир догонит тебя и попытается одолеть. Если не будешь писать каждый день, яд постепенно накопится, и ты начнешь умирать, или безумствовать, или и то и другое.

Нужно опьяняться и насыщаться творчеством, и реальность не сможет тебя уничтожить.

Потому что писательство дает столько правды жизни в правильных дозах, сколько ты в состоянии съесть, выпить и переварить без того, чтобы потом судорожно ловить воздух ртом и биться, как умирающая рыбешка.

За время разъездов я понял, что если не пишу один день, мне становится не по себе. Два дня — и меня начинает трясти. Три — и я близок к безумию. Четыре — и меня корежит, как свинью при

поносе. Один час за пиущей машинкой бодрит мгновенно. Я на ногах. Бегаю кругами, как заведенный, и громко требую чистые носки.

О чем и пойдет речь в этой книге. Так или иначе.

Каждое утро принимайте щепотку мышьяка, чтобы дожить до заката. На закате — еще щепотку, чтобы продержаться до следующего рассвета.

Микродозы мышьяка, проглоченные сейчас, готовят к тому, чтобы не отравиться потом.

Работа в гуще жизни и есть та самая дозировка. Чтобы управляться с жизнью, бросайте вверх разноцветные шары, пусть они перемешаются с темными, пусть смеси красок создадут вариации правды. Мы приникаем к прекрасным и благородным явлениям жизни, чтобы примириться с ужасами и бедой, поражающими нас напрямую, через родных и друзей, или же через газеты и телевидение.

Отрицать ужасы невозможно. У кого из нас не было друга, умершего от рака? У кого в семье не было случая смерти или увечья в автокатастрофе? Я не знаю таких людей.

В моем собственном близком кругу автомобильные аварии унесли тетю, дядю, двоюродного брата и шестерых друзей. Список бесконечен и угнетает, если не сопротивляться творчеством.

Это значит — писательство исцеляет. Безусловно, не полностью. Ты никогда до конца не сможешь оправиться после тяжелой болезни родителей или смерти любимого человека.

Я не хочу использовать слово «терапия», слишком холодное, слишком стерильное слово.

Я вот что скажу: когда смерть останавливает других, ты должен взбежать на трамплин и нырнуть головой вперед в пишущую машинку.

Художники и поэты иных времен, давно ушедших времен, хорошо знали все, о чем я сейчас говорю и о чем написал в нижеследующих эссе. Аристотель уж сколько веков говорит то же самое. А вы давно слушали Аристотеля?

Эти эссе я писал в разное время, на протяжении тридцати с лишним лет, чтобы рассказать о конкретных открытиях и решить конкретные задачи. Но в них во всех звучит эхо все той же правды — правды взрывного самообнаружения и непрерывного изумления тому, что скрывают глубины твоего собственного колодца, если туда хотя бы просто заглянуть или крикнуть.

Прямо сейчас, когда я работаю над предисловием, пришло письмо от одного молодого неизвестного автора. Он пишет, что собирается жить под девизом, взятым из моего «Конвектора Тойнби».

«...обманываешь себя и стараешься, чтобы обман стал правдой... в итоге, все вокруг — обещание... то, что кажется ложью, есть приостановленная необходимость, ждущая своего часа...»

А теперь:

Давеча я придумал другое сравнение для описания себя самого. Оно может стать вашим.

Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Эта мина — я сам.

После взрыва я целый день собираю себя по кусочкам.

Теперь ваша очередь. Вставайте!

## *Радость писательства*

«Пыл». «Упоение». Как редко мы слышим эти слова. Как редко встречаем кого-то, кто с этим живет или даже творит. И все-таки, если бы меня попросили назвать самую важную составляющую в арсенале писателя, силу, которая придает материалу именно такую, а не другую форму, и уносит его туда, где ему хочется оказаться, я бы ответил так: его драйв, его упоение своим делом.

У вас есть свой список любимых писателей; у меня есть свой. Диккенс, Твен, Вулф, Пикок, Шоу, Мольер, Джонсон, Уичерли, Сэм Джонсон. Поэты: Джерард Мэнли Хопкинс, Дилан Томас, Поуп. Художники: Эль Греко, Тинторетто. Композиторы: Моцарт, Гайдн, Равель, Иоганн Штраус (!). Задумайтесь об этих именах, и вы задумаетесь о великих и мелких, но все равно важных страстях, аппетитах, стремлениях. Задумайтесь о Шекспире и Мелвилле, и вам придет на ум гром, молния, ветер. Все эти люди знали радость творческого труда в формах

крупных и малых, на холстах гигантских и тесных. Дети богов, они знали, что такое радость творчества. И неважно, что не всегда получалось легко; неважно, какими болезнями и бедами страдала их скрытая от всех частная жизнь. Важно лишь то, что осталось в творениях их рук и умов, в произведениях, переполненных до краев животной энергией и интеллектуальной мощью. Даже ненависть и отчаяние они умели выразить через любовь.

Посмотрите на удлинения Эль Греко и скажите мне, если сможете, что он не находил удовольствия в своей работе. Неужели вы и вправду станете утверждать, что свое «Сотворение животных» Тинторетто писал не ради упоительного наслаждения в самом широком и всеобъемлющем смысле слова? Лучший джаз говорит: «Буду жить вечно; не верю в смерть». Лучшая из скульптур, голова Нефертити, повторяет вновь и вновь: «Красота была, есть и пребудет навечно». Каждый из названных мной людей схватил капельку ртутной текучести жизни, заморозил ее на века, а затем в восторге творческого упоения обернулся к своему творению, указал на него и воскликнул: «Разве это не хорошо?!» И это было хорошо.

Но при чем тут сочинение рассказов в наши дни?

А вот при чем: если вы пишете без упоения, без пыла, без любви, без радости, вы только на-

половину писатель. Это значит, вы постоянно коситесь одним глазом либо в сторону коммерческого рынка, либо в сторону авангардной тусовки, и перестаете быть собой. Вы себя даже не знаете. Потому что писатель обязан быть прежде всего одержимым. Его должно лихорадить от жара и восторга.

Без этого горения ему лучше заняться чем-то другим — собирать персики, рыть канавы; видит Бог, это будет полезнее для здоровья.

Как давно вы сочинили рассказ, в котором ваша истинная любовь или истинная ненависть, так или иначе, вылилась на бумагу? Когда вы в последний раз отважились высвободить свое нежно любимое пристрастное мнение, чтобы оно било в страницу, как молния? Что у вас в жизни — самое лучшее, а что — самое худшее, и когда вы уже удосужитесь поведать об этом миру, шепотом или во весь голос?

Разве было бы не чудесно, например, отшвырнуть в сердцах номер «Harper's Bazaar», который вы случайно пролистали в приемной дантиста, рвануться к пишущей машинке и излить свое бешенство и возмущение, громя в пух и прах их дурацкий, а иногда и шокирующий снобизм? Когда-то я так и сделал. Мне попался один номер, где фотографии из «Bazaar», с их извращенными представлениями о равенстве, вновь задействовали жителей пуэрториканских трущоб в качестве декораций, на фоне которых

их худосочные, словно недоедающие модельки принимали картинные позы для еще более истощенных полуженщин из лучших салонов страны. Эти фотографии так меня разозлили, что я побежал — не пошел — к своей пишущей машинке и написал «Солнце и тень», рассказ о старом пуэртиориканце, который испортил день съемок фотографу из «Vazaar», влезая в каждый кадр и спуская штаны.

Думаю, некоторые из вас были бы не прочь сделать то же самое. Я же здорово повеселился, испытав очищающее воздействие смеха, и то придушенно гоготал, то неудержимо ржал. Возможно, редакторы «Vazaar» даже не видели этот рассказ. Но читатели видели и кричали: «Давай, «Vazaar», давай, Брэдбери!» Я не утверждаю, что победил. Но когда снял перчатки — на них была кровь.

Когда вы в последний раз написали рассказ вот так — только от возмущения?

Когда вас в последний раз останавливала на улице полиция, потому что вам нравится гулять и, может быть, думать по ночам? Со мной это случалось так часто, что я разозлился и написал «Пешехода» — рассказ о будущем на пятьдесят лет вперед, когда человека арестовали и отвезли на психиатрическое обследование лишь потому, что он упорствовал в желании смотреть на нетелевизорную реальность и дышать некондиционерным воздухом.